Вашингтон Ирвинг
Легенда о Сонной Лощине

Оригинал:

The Legend of Sleepy Hollow

1820

"Легенда о Сонной Лощине" - готический рассказ Вашингтона Ирвинга, события которого разворачиваются в 1790 году в окрестностях голландского торгового посёлка Тарри-Таун, неподалёку от которого находится Сонная Лощина, известная своими привидениями и давящей атмосферой.

Икабод Крейн и Бром ван Брунт сражаются за сердце и руку красавицы Катрины, но однажды ночью Икабода Крейна начинает преследовать призрак - Всадник без головы...

Ebook: http://originalbook.ru

Легенда о Сонной Лощине. Вашингтон Ирвинг

Из бумаг покойного Дитриха Никкербоккера

Был это мир, влекущий нас в мечту

Виденье сонных глаз; манящий край

Воздушных замков в облачных грядах,

Небесной синевы летучих стай.

Джемс Томсон, "Замок Лени"

В глубине одной из тех просторных бухт, которыми изрезан восточный берег Гудзона, там, где река раздается вширь, – в старину этот разлив был окрещен голландскими мореплавателями Таппан Зее[1], причем здесь они всегда предусмотрительно убирали часть парусов и молились св. Николаю о заступничестве и покровительстве, – лежит небольшой торговый поселок, или, вернее, сельская пристань, именуемая при случае Гринсбургом, хотя точное и общеупотребительное название ее – Тарри Таун[2]. Нам рассказывали, что она была прозвана так во дни оны почтенными кумушками здешнего края, отметившими таким образом застарелую склонность своих супругов застревать в базарные дни в деревенском трактире. Как бы то ни было, не ручаясь за достоверность этого объяснения, я привожу его здесь потому, что стремлюсь к точности и достоверности. Неподалеку от деревни, в каких-нибудь двух трех милях, находится небольшая долина, или, вернее, лощина, окруженная высокими холмами и являющаяся одним из самых безмятежных и мирных уголков на всем свете. По ее дну скользит ручеек, баюкающий и навевающий дрему; случайный свист перепела да "тук тук" зеленого дятла – вот единственные звуки, нарушающие ее неизменную тишину.

Вспоминаю, что в дни юности именно здесь, в роще, прикрывающей один из склонов лощины, среди высоких ореховых деревьев, я застрелил свою первую белку. Дело было в послеполуденный час, когда природа особенно тиха, так что

[1] Таппанское озеро (голл.)

[2] С трудом поддается переводу, нечто вроде: "Мешкач-город". В действительности это название является, как полагают, искажением голландского Tawen Dorp, то есть "Пшеничная гавань"

меня самого испугал громкий выстрел моего ружья, прервавший торжественное безмолвие и к тому же продленный и повторенный сердитым эхом. Если я затоскую когда-нибудь об убежище, в котором я мог бы укрыться от мира и его суетности и прогрезить в тиши остаток моей беспокойной жизни, то мне не найти уголка более благословенного, чем эта маленькая лощина.

Благодаря своей безмятежности и тишине, а также некоторым особенностям в характере обитателей, кстати сказать – потомков первых голландских переселенцев, этот уединенный дол издавна именуется Сонной Лощиной, и местных парней величают в окрестности не иначе, как "соннолощинскими". Кажется, будто над этой землей витают какие-то клонящие долу дремотные чары, которыми насыщен тут самый воздух. Иные толкуют, что долина была околдована в первые дни поселения одним высокоученым немецким доктором, тогда как другие настаивают, будто, еще до открытия этого края мастером Гендриком Гудзоном, здесь устраивал шабаши престарелый индейский вождь, прорицатель и колдун своего племени. Несомненно однако, что это место и поныне продолжает пребывать под каким то заклятием, заворожившим умы его обитателей, живущих по этой причине среди непрерывных грез наяву. Они любят всяческие поверья, подвержены экстатическим состояниям и видениям; пред ними зачастую витают необыкновенные призраки, они слышат какую-то музыку и голоса. Вся округа изобилует местными сказаниями, "нечистыми" местами, темными суевериями; над лощиною чаще, чем где либо, полыхают падающие звезды и метеоры; водится здесь, как кажется, и ночной кошмар со всем своим многочисленным мерзким отродьем.

Главный дух из числа посещающих этот зачарованный уголок – он же, по-видимому, и главнокомандующий всего сонма воздушных сил – некий Всадник без головы. Говорят, будто это – тень одного гессенского кавалериста[3], которому в какой-то безымянной битве революционной войны пушечное ядро оторвало голову и который время от времени, словно на крыльях ветра, проносится в ночном мраке пред местными жителями. Его видят, впрочем, не только в долине, но порою и на окрестных дорогах в особенности около расположенной невдалеке церкви. И действительно, некоторые из наиболее достойных доверия историков этого края – они со всею возможною

[3] Во время освободительной войны американских колоний (1775 1783), закончившейся отделением этих колоний от Англии и образованием Соединенных Штатов Америки, в рядах английских войск сражались довольно многочисленные отряды гессенцев, "уступленных" англичанам, разумеется, за известную мзду, герцогом Гессен Дармштадтским (Германия).

тщательностью собрали и сличили сбивчивые рассказы о призрачном всаднике – утверждают, что тело кавалериста погребено внутри церковной ограды, а дух его рыщет ночами по полю сражения в поисках оторванной головы, так что быстрота, с которою он, подобно порыву ночного вихря, мчится подчас вдоль Сонной Лощины, вызвана его опозданием и необходимостью возвратиться в ограду до первого света.

Таково, в общих чертах, содержание суеверной легенды, послужившей основою для множества странных историй, распространенных в этом царстве теней; что же касается призрака, то он известен у всех камельков округи как Всадник без головы из Сонной Лощины.

Примечательно, что склонность к сверхъестественному, о которой я упоминал выше, свойственна не только уроженцам долины, – она неприметным образом захватывает всякого, кто поживет в ней известное время. Как бы трезв и рассудителен до переселения в эту дремотную местность ни был пришелец, можно не сомневаться, что в скором времени он тоже подпадет влиянию чар, носящихся в воздухе, и станет великим мечтателем – будет подвержен видениям и грезам.

Я упоминаю об этом тихом и безмятежном уголке со всяческой похвалой; в этих маленьких забытых голландских долинах, разбросанных по обширному штату Нью-Йорк, ни население, ни нравы, ни обычаи не претерпевают никаких изменений. Великий поток переселений и прогресса, непрерывно меняющий облик других областей нашей беспокойной страны, проходит здесь совсем незамеченным. Долины эти подобны крошечным заводям у берегов бурных ручьев, заводям, где можно видеть, как соломинка или пузырек воздуха стоят себе мирно на якоре или медленно кружатся в игрушечной бухточке, не задеваемые порывом проносящегося мимо течения. И хотя с тех пор, как я бродил среди дремотных теней Сонной Лощины, миновало немало лет, я все еще спрашиваю себя, не произрастают ли в ее богоспасаемом лоне все те же деревья и те же семьи?

В этом затерянном уголке, в отдаленный период истории Штатов, иначе говоря – лет тридцать назад, проживал весьма достойный молодой человек по имени Икабод Крейн[4], который поселился, или, как он имел обыкновение выражаться,

[4] Икабод – редко встречающееся мужское имя библейского происхождения, обозначающее в переводе с древнееврейского "несчастливый", "бедняга".

"задержался" в Сонной Лощине в целях обучения окрестных детей. Он происходил из Коннектикута – штата, который, снабжая всю федерацию пионерами не только в обычном смысле этого слова, но и такими, что вспахивают мозги, ежегодно шлет за свои пределы легионы корчующих пограничные леса колонистов и сельских учителей. Фамилия Крейн[5] довольно хорошо подходила к его наружности. Это был высокий, до крайности тощий, узкогрудый и узкоплечий парень с большими руками и такими же точно ногами: кисти рук вылезали у него на целую милю из рукавов, ступни легко могли бы сойти за лопаты, да и вся фигура его была на редкость нескладной. Он был обладателем крошечной, приплюснутой у макушки головки, огромных ушей, больших зеленых и как бы стеклянных глаз, длинного, как у кулика, носа – ни дать ни взять флюгер в образе петушка, красующийся на спице и указывающий направление ветра. Когда в ветреный день в раздувающейся, как парус, одежде он крупными шагами спускался по склону холма, его можно было принять за сходящего на землю гения голода или пугало, сбежавшее с кукурузного поля.

Его школа представляла собою низкое, сложенное из бревен здание, состоявшее из единственной большой горницы; окна ее были частью застеклены, частью заклеены листами старых тетрадей. В часы, когда не было занятий, школа охранялась при помощи прикрученного к дверной ручке ивового прута и подпирающих оконные ставни кольев, так что вора, которому было очень легко проникнуть в нее, ожидали при выходе некоторые препятствия. Вполне возможно, что идея этого хитроумного приспособления была внушена строителю школы Иосту ван Гуттену таинственным устройством снасти для ловли угрей. Школьный дом был расположен в глухом, но красивом месте. Он стоял у подножия поросшего лесом холма; поблизости протекал ручеек, и тут же росла устрашающего вида береза. В знойный летний день, когда, кажется, засыпает сам воздух, оттуда доносился приглушенный гул – ученики Икабода зубрили уроки, – напоминавший жужжание пчел и прерываемый время от времени властным окриком самого наставника (то было приказание или угроза), а при случае и жутким свистом березовых прутьев, подгонявших какого-нибудь бездельника, замешкавшегося на усыпанной розами стезе знания. Необходимо отметить, что наш педагог был человек добросовестный и постоянно хранил в памяти драгоценное правило: "Кто жалеет розгу, тот портит ребенка". Ученики Икабода Крейна, поверьте мне, испорчены не были.

[5] Крейн (Crane) – журавль (англ.)

Тем не менее я отнюдь не считаю, что он принадлежал к числу тех жестокосердых школьных владык, которые находят удовольствие в истязании своих подданных; напротив, он отправлял правосудие, вникнув в существо дела, а не сплеча; например он освобождал от наказания зады тщедушных и перекладывал его на ту же часть тела физически сильных учеников. Он миловал щуплого, несчастного паренька, вздрагивающего при малейшем взмахе лозы, но справедливость при этом ничуть не страдала: она вознаграждалась двойной порцией розог, всыпанных какому-нибудь коренастому, крепкому, упрямому и надоедливому пострелу, который под лозой хмурился, пыжился и становился все упрямее и угрюмее. Он называл это "исполнить свой долг пред родителями" и никогда не налагал наказания без весьма утешительного для наказуемого заверения в том, что "он будет помнить и благодарить его до конца своих дней".

Впрочем, по окончании школьных занятий Икабод становился другом и приятелем старших мальчиков и делил их забавы и игры, а в праздничные дни провожал по домам малышей, особенно тех, кому выпало счастье иметь миловидных сестер или славящихся своей хозяйственностью мамаш, относительно которых было известно, что полки у них битком набиты всякими яствами. И в самом деле, ему приходилось поддерживать добрые отношения с учениками, доход от школы был настолько ничтожен, что его едва хватило б на хлеб насущный, ибо Икабод был обладателем отменного аппетита и, невзирая на худобу, отличался не меньшей, чем анаконда[6], способностью увеличиваться в объеме. Итак, дабы поддержать себя, он столовался и обитал, в соответствии с местным обычаем, у тех фермеров, дети которых у него обучались. Прожив в каком-нибудь доме неделю, он переселялся затем в другой, таская с собою все свое достояние, умещавшееся в бумажном платке, и обходил таким образом всю округу.

Но чтобы это не было слишком тяжелым налогом для кошелька его хозяев крестьян, склонных рассматривать расход на содержание школы как непосильное бремя, а учителя как лентяя и трутня, он прибегал к различным уловкам, имевшим целью показать, что он в такой же мере полезен, как и приятен. При случае он помогал фермерам по хозяйству: ходил с ними на сенокос, чинил изгороди, водил на водопой лошадей, пригонял коров с пастбища и пилил дрова для зимнего камелька. Он забывал в этих случаях о

[6] Анаконда (род удава) – название самой крупной змеи Южной Америки, проглатывающей зараз огромное количество пищи.

непогрешимом авторитете и об абсолютной власти, которыми пользовался в своем маленьком государстве – у себя в школе, и превращался в олицетворение любезности и обходительности. Лаская ребятишек, и особенно младших, он умел снискать благосклонность в сердцах матерей и, подобно свирепому льву, во время оно баюкавшему ягненка, часы напролет просиживал с каким-нибудь малышом на колене, мерно раскачивая ногой колыбельку.

При всех своих прочих обязанностях он был также регентом и клал в карман немало блестящих серебряных шиллингов, обучая местную молодежь пению псалмов. Он преисполнялся гордости и тщеславия, когда по воскресным дням занимал свое место на хорах церкви, впереди группы отборных певцов; стоя здесь, он считал в глубине души, что пальма первенства принадлежит бесспорно ему, а не священнику. Его громовой голос заглушал голоса всех молящихся, и до сих пор в этой церкви можно услышать какие-то странные рулады и завывания. Да что в церкви! Их можно услышать даже за полмили отсюда, по ту сторону мельничного пруда; утверждают, будто они являются прямыми потомками тех самых рулад и тех завываний, которые когда то издавал Икабод. Так, с помощью маленьких хитростей и уловок, или, как говорится, "всеми правдами и неправдами", наш достопочтенный педагог зарабатывал, надо сказать, недурно, и всем, кто не имеет ни малейшего представления об усилиях, требуемых интеллектуальным трудом, казалось, что ему в удел досталась поразительно легкая и беззаботная жизнь.

Сельский учитель – обычно лицо, пользующееся известным уважением и весом среди женской половины деревни; на него смотрят, вообще говоря, как на белоручку, как на человека, в какой-то мере близкого к господам, несравненно более образованного и тонкого в обращении, чем грубые деревенские парни, и уступающего в учености разве только священнику. Его приход в дом поэтому способен вызвать некоторый переполох за чайным столом у фермера – добавление сверхштатного блюда в виде пирожного или сластей или при случае даже появление на столе серебряного парадного чайника. Нашему ученому мужу, в силу этих причин, чрезвычайно везло также на улыбки окрестных девиц. О, какая картина открылась бы нашему взору, если б нам удалось взглянуть на него в перерывах между воскресными службами, когда он блистал в их обществе на церковном дворе! Он срывал для них гроздья дикого винограда, обвивавшего стволы растущих вокруг деревьев, читал все без исключения могильные эпитафии и прогуливался, окруженный их стайкой, вдоль берега примыкающего к кладбищу мельничного пруда, в то время как

робкие деревенские увальни глупо плелись позади, лопаясь от досады и завидуя его ловкости и развязности.

Благодаря полубродячему образу жизни он являлся к тому же своеобразной "странствующей газетой" и переносил из дома в дом полные короба местных сплетен, так что его всегда встречали не без известного удовольствия. Сверх того, женщины уважали в нем человека необыкновенной начитанности, ибо он прочитал от строки до строки несколько книг и знал назубок "Историю колдовства в Новой Англии" Коттона Мезера, в непогрешимость которой, кстати сказать, верил всею душой.

В общем, он представлял собою причудливое соединение лукавства и простодушия. Его страсть к сверхъестественному и способность переваривать эти неудобоваримые вещи были воистину поразительны, причем оба названных свойства укреплялись в нем по мере пребывания в этой зачарованной местности. Для его прожорливой глотки не существовало ни слишком грубой, ни слишком нелепой басни. Как часто и с каким наслаждением, окончив после полудня занятия в школе, растягивался он на пышном ложе из клевера у берега маленького, журчащего около школьного здания ручейка и предавался здесь изучению старинных, полных ужасов повестей Мезера, пока сумерки не обволакивали печатную страницу непроницаемой сеткою мглы! И потом, когда он направлялся мимо болот, ручья и жуткого леса к дому того фермера, где на этот раз стоял на постое, всякий звук, всякий голос природы, раздававшийся в этот заколдованный час, смущал его разгоряченное воображение: стон козодоя, несущийся со склона холма, кваканье древесной лягушки, этой предвестницы ненастья и бури, заунывные крики совы или внезапный шорох потревоженной в чаще птицы. И даже светляки, которые ярче всего горят в наиболее темных местах, время от времени, когда на его пути внезапно вспыхивала особенно яркая точка, заставляли его испуганно останавливаться. А если какой-нибудь бестолковый жук задевал его в своем несуразном полете, бедняга готов был испустить дух от страха, считая, что он отмечен прикосновением колдуна. Единственное средство, к которому он прибегал в таких случаях, – то ли чтобы освободиться от мучительных мыслей, то ли чтобы отогнать злые силы, – состояло в распевании псалмов, и простодушные обитатели Сонной Лощины, сидя вечерами у порога домов, не раз содрогались от страха, слушая его гнусавые мелодии, непрерывные и бесконечные, доносившиеся с далекого холма или со стороны окутанной мглою дороги.

Вторым источником, откуда он черпал свои жуткие наслаждения, были долгие зимние вечера, которые он проводил со старухами голландками: они сидели у огня, пряли свою вечную пряжу, в печи лопались и шипели яблоки, а он слушал их рассказы о духах, призраках, нечистых полях, нечистых мостах, нечистых ручьях и в особенности о Всаднике без головы, или, как они порою его величали. Скачущем гессенце из Лощины Он в свою очередь услаждал их историями о колдовстве, зловещих предзнаменованиях, дурных приметах и таинственных звуках, обо всем, чем в начале заселения кишмя кишел Коннектикут, и пугал их почти до бесчувствия рассуждениями о кометах, падающих звездах и сообщением тревожного факта, что земля, безусловно, вертится и что половину суток они проводят вниз головой.

Но если, уютно примостившись у камелька, – комнату в таких случаях озаряло багровое пламя потрескивающих в очаге дров, и сюда, разумеется, не посмел бы показать нос ни один призрак, – Икабод испытывал от всего этого бесконечное удовольствие, то при последующем возвращении к себе домой ему приходилось расплачиваться ужасными страхами. Какие только жуткие тени и образы не подстерегали его среди тусклого и призрачного освещения вьюжной ночи! С какою тоскою поглядывал он на мерцающий в далеком окне и скользящий над пустынной равниною огонек! Сколько раз останавливался он, полумертвый от страха, перед запорошенным снегом кустом, который, точно привидение в саване, преграждал ему путь! Сколько раз леденел он от ужаса, заслышав на мерзлом снегу свои собственные шаги и боясь оглянуться назад, чтобы не обнаружить у себя за спиной какое-нибудь чудовище, преследующее его по пятам! Сколько раз, наконец, порыв завывающего между деревьями ветра доводил его почти до потери сознания, ибо ему чудилось, что это мчащийся во весь дух гессенец, который, как всегда в эту пору, рыщет в поисках своей головы.

Все это были, впрочем, не более как обыкновенные, порожденные ночью страхи, фантомы блуждающего во тьме воображения. И хотя во время этих одиноких ночных прогулок ему довелось повидать немало различных духов и даже сталкиваться с самим сатаною в его неисчислимых обличьях, все же дневной свет приносил конец злоключениям подобного рода. На зло дьяволу со всеми его проделками Икабод Крейн прожил бы, вероятно, спокойную и счастливую жизнь, не повстречай он на своем пути существа, доставляющего смертным неизмеримо больше хлопот и мучений, нежели духи, привидения и вся порода волшебников и чародеев, взятая вместе. Этим существом была женщина.

Среди тех, кого он обучал пению псалмов и которые ради этого собирались раз в неделю по вечерам, была Катрина ван Тассель, единственная дочь богатого голландского фермера. Это была цветущая девица едва восемнадцати лет от роду, пухленькая, как куропатка, крепкая, нежная и розовощекая, как персики ее отца. Она пользовалась вниманием всех молодых людей этих мест, притом не только благодаря своей красоте, но также и неисчислимым благам, ожидавшим ее избранника. Ко всему она была также немножко кокеткою, что сказывалось в ее наряде, представлявшем собою смешение новомодного со старинным, ибо это позволяло ей выставить напоказ свои чары. Она носила украшения из червонного золота, вывезенные из Саардама еще ее прапрабабкою, обольстительный корсаж по моде былых времен и соблазнительно короткую юбку, оставлявшую открытыми самые красивые ножки во всей округе.

Икабод Крейн обладал нежным и влюбчивым сердцем. Неудивительно, что столь лакомый кусочек обрел в его глазах неизъяснимую привлекательность, в особенности после того, как он посетил ее разок другой в родительском доме. Старый Балт ван Тассель мог бы служить образцовым портретом преуспевшего, довольного собою, благодушного фермера. Его взгляды и мысли, правда, не слишком часто перелетали за ограду его усадьбы, но зато в ее пределах все было уютно, благоустроенно и добротно. Он спокойно и удовлетворенно взирал на свои богатства, но не был спесив, гордясь изобилием и довольством, а не тем, что он богаче других. Его "замок" был расположен поблизости от Гудзона, в одном из тех зеленых, укромных и плодородных уголков, в которых так любят гнездиться голландские фермеры. Огромный вяз простирал над домом могучие ветви; у его подножия, в небольшом водоеме, для которого был использован старый бочонок, кипел и рвался наружу студеный родник с изумительно мягкой и вкусной водой; выливаясь из водоема, он струился, поблескивая среди травы, и впадал в находящийся поблизости ручеек, который, тихо журча, протекал среди карликовых ив и ольшаника. Рядом с домом стоял просторный амбар; он был выстроен настолько добротно, что мог бы сойти за сельскую церковь. Каждое окно и каждая щель его, казалось, вот-вот готовы раздаться в стороны и пролить наружу неисчислимые сокровища фермы; внутри его от зари до зари слышался деловитый стук цепа; ласточки и стрижи, весело щебеча, неутомимо сновали под навесом крыши, а бесчисленные голуби, некоторые – склонившись набок и посматривая одним глазом в небо, как бы для того, чтобы выяснить, какая сегодня погода, другие – спрятав голову под крыло или уткнув ее в грудь, третьи – надуваясь, воркуя и кланяясь своим дамам, – радовались на крыше сиянию солнца.

Гладкие, неповоротливые, откормленные на убой свиньи мирно похрюкивали, нежась в прохладе хлева, из которого время от времени, как бы для того, чтобы, пофыркивая, потянуть пятачком воздух, выбегали наружу отряды потешных сосунков поросят. Блистательная эскадра белоснежных гусей, эскортируя неисчислимый утиный флот, медленно и важно плыла вдоль берега расположенного по соседству пруда; полки индюков наполняли гомоном двор; испуская пронзительные, раздраженные крики, тут же суетились, как очумелые, похожие на сварливых хозяек, цесарки. Перед дверью амбара важничал галантный петух – образцовый супруг, воин и джентльмен; он взмахивал блестящими крыльями, кукурекал от радости и гордости, переполнявших его сердце, и вдруг принимался разрывать землю; вслед за тем он великодушно и благородно сзывал своих вечно голодных жен и детей, чтобы порадовать их вожделенным кусочком, который ему посчастливилось отыскать.

При виде всех этих прелестей, суливших роскошные яства на долгую зиму, у нашего педагога потекли слюнки. Его прожорливое воображение рисовало каждого бегающего по двору поросенка не иначе, как с пудингом в брюшке и яблоком в оскаленной пасти; голубей он любовно укладывал в чудесный пирог, прикрыв сверху подрумяненной, хрустящей корочкой; что касается гусей, то они плавали в собственном жиру, тогда как утки, напоминая любящих, только что сочетавшихся в браке молодоженов, нежно прижавшись друг к другу, лежали на блюде, обильно политые луковым соусом. В свиньях он прозревал грудинку – жирную, нежную! – и душистую, тающую во рту ветчину; индейка витала пред его взором, повиснув на вертеле с шейкою под крылом и, быть может, опоясанная вязкою восхитительно вкусных сосисок; царственный петушок – золотой гребешок в качестве особого угощения, растянувшись на спинке с задранными вверх коготками, как бы молил о пощаде, просить о которой при жизни ему не дозволял его рыцарский дух.

Пока Икабод, восхищенный представшею перед ним картиною изобилия, предавался подобным грезам, пока его зеленые, широко раскрытые глаза перебегали с жирных пастбищ на тучные, засеянные пшеницей, рожью, кукурузою и гречихой поля и потом на сады, которые окружали уютное, теплое жилище ван Тасселей, с деревьями, гнущимися под тяжестью румяных плодов, сердце его возжаждало наследницы этих богатств, и его воображение захватила мысль о том, как легко можно было бы превратить их в наличные деньги, а деньги вложить в бескрайние пространства дикой, пустынной земли и деревянные хоромы в каком-нибудь захолустье. Больше того, его живая

фантазия рисовала ему пышную, цветущую, окруженную кучей ребятишек Катрину на верху переселенческого фургона, груженного всяким домашним скарбом, с горшками и котлами, покачивающимися и позвякивающими внизу у колес, и он видел себя верхом на трусящей иноходью кобыле с жеребенком, неотступно следующим за ней по пятам, на пути в Кентукки, Теннесси или, один Бог знает, куда.

Переступив порог дома, он понял, что сердце его покорено окончательно и бесповоротно. Это был один из тех просторных деревенских домов с высоко вздымающейся, но низко свисающей крышей, образец которых унаследован от первых голландских переселенцев; карниз крыши был низко опущен, образуя по фасаду веранду, закрывавшуюся в случае ненастной погоды. Под навесом крыши висели цепи, упряжь, различные предметы сельскохозяйственного обихода и сети, которыми ловили рыбу в протекающей недалеко от дома реке. По краям веранды были расставлены скамьи, предназначенные для летнего времени; в одном конце виднелась большая прялка, в другом – маслобойка, указывавшие на многообразное применение этой пристройки. Отсюда восхищенный Икабод проник в сени, являвшиеся, так сказать, центром дома ван Тасселей и обычным местом сбора членов семьи. Здесь его взор был ослеплен рядами сверкающей оловянной посуды, в чинном порядке расставленной на полках буфета. В одном углу он заметил огромный мешок с шерстью, готовой для пряжи, в другом – только что снятые со станка куски грубошерстной ткани; початки кукурузы, вязки сушеных яблок и персиков, веселыми узорами развешанные вдоль стен, перемежались с яркими пятнами красного перца, а полуоткрытая дверь позволяла ему окинуть взглядом парадную комнату, в которой кресла с ножками в виде звериных лап и темные столы красного дерева блестели, как зеркало; таган и его вечные спутники – совок и щипцы – поблескивали сквозь свисающие с камина кончики стеблей аспарагуса; искусственные апельсины и большие морские раковины украшали камин, над которым висели нанизанные на нитку разноцветные птичьи яйца; посреди комнаты с потолка спускалось огромное страусовое яйцо; в шкафу, находившемся в одном из углов этой гостиной и не без намерения оставленном открытым, виднелись несметные сокровища, состоявшие из старинного серебра и искусно склеенного фарфора.

Побывав в этом сказочном царстве, Икабод окончательно утратил душевный покой; все его помыслы сосредоточились на одном: как бы завоевать взаимность несравненной дочки ван Тасселя. В этом предприятии ему, впрочем, предстояло

преодолеть гораздо большие трудности, нежели те, что выпадали обычно на долю странствующих рыцарей доброго старого времени, которым не часто приходилось сталкиваться с кем либо иным, кроме гигантов, волшебников, злых драконов и тому подобных без труда обуздываемых противников, а также нужно было пробиться через какие нибудь пустячные железные или медные двери и адамантовые[7] стены, чтобы проникнуть в одну из замковых башен, где томилась дама их сердца; все это рыцарь проделывал с такою же легкостью, с какою мы добираемся до начинки рождественского пирога; после чего красавица, разумеется, отдавала ему руку и сердце. Икабоду, однако, предстояло пробиться к сердцу сельской кокетки, огражденному лабиринтом прихотей и капризов, порождавших на его пути все вновь и вновь возникавшие трудности и преграды; ему предстояло столкнуться с кучей свирепых соперников, бесчисленных деревенских воздыхателей, наделенных самой настоящей плотью и кровью, соперников, ревниво охранявших подступы к ее сердцу, настороженно и злобно следивших один за другим, но готовых объединиться ради общего дела и совместными усилиями раздавить нового соискателя.

Среди них наиболее грозным противником был дюжий, суматошный и буйный молодой человек по имени Абрагам, или, как принято говорить у голландцев, Бром ван Брунт, герой здешних мест, молва о подвигах и силе которого гремела в окрестностях. Это был широкоплечий, мускулистый парень с короткими курчавыми волосами и грубоватым, хотя и не лишенным приятности, веселым, задорным и одновременно дерзким лицом. По причине геркулесового сложения и огромной физической силы он получил прозвище Бром Боне[8], и под этим именем был известен повсюду. Он пользовался славой отличного наездника и действительно сидел в седле как татарин. Он неизменно присутствовал на всех скачках и петушиных боях и благодаря своей физической силе, которая в условиях деревенской жизни придает человеку известный вес и влияние, постоянно бывал третейским судьей во всех спорах и ссорах, причем, сдвинув набекрень шапку, выносил решения тоном, не допускавшим ни недовольства, ни возражений. Он пребывал во всегдашней готовности учинить драку или какую-нибудь забавную выходку, хотя, в сущности говоря, в нем было гораздо больше задора, чем злобы; при всей его безграничной грубости основной чертой характера Брома была неудержимо рвущаяся наружу молодая, проказливая

[7] Адамант – одно из названий алмаза.

[8] Боне (Bones) кости (англ.).

веселость. Его окружали три или четыре приятеля, которых он, можно сказать, воспитал и которые смотрели на него как на свой образец, во главе их он разъезжал по окрестностям, присутствуя при каждой ссоре и на каждом веселом сборище на несколько миль в окружности. В холодную погоду его можно было узнать по меховой шапке, увенчанной пышным лисьим хвостом, и когда фермеры на сельских сходах замечали где-нибудь в отдалении этот хорошо знакомый всем головной убор впереди кучки отчаянных всадников, они всегда ожидали неминуемой бури. Порою его ватага, проносясь в полночь позади фермерских домиков, давала о себе знать криком и гиканьем, напоминавшими крики и гиканье донских казаков, и старухи, внезапно пробудившись от сна и прислушиваясь, пока все не смолкнет, восклицали: "Ах, да ведь это Бром Боне со своею ватагою!" Соседи поглядывали на него со страхом и вместе с тем с восхищением и любовью, а когда поблизости случалась какая-нибудь сумасбродная выходка или изрядная потасовка, они неизменно покачивали головами и выражали уверенность, что это дело рук Брома Бонса.

Этот озорной герой с некоторого времени пленился цветущей Катриною и избрал ее предметом своих неуклюжих ухаживаний. Хотя его любезности чрезвычайно походили на ласки и заботы медведя, все же, как передавали на ухо, она отнюдь не отвергала его искательств. Так ли, иначе ли, но это послужило предупреждением для всех остальных воздыхателей, поторопившихся убраться с дороги, ибо кто же склонен оспаривать возлюбленную у льва. Вот почему всякий раз, когда конь Брома в воскресный вечер бывал привязан у изгороди фермы ван Тасселей, – а это служило верным признаком того, что его хозяин ухаживает, или, как говорится, "увивается" где то внутри, – все остальные поклонники, отчаявшись в успехе, проходили мимо и переносили военные действия в другие места.

Таков был грозный соперник, с которым предстояло столкнуться Икабоду Крейну. Приняв во внимание все обстоятельства, человек посильнее его, наверное, отказался бы от соперничества, человек помудрее – пришел бы в отчаяние. Но его характер представлял собою счастливое сочетание мягкости и упорства. И по своей внешности и по своему духу Икабод Крейн напоминал камышовую трость – он был гибок, но крепок; хотя он порою сгибался, однако сломить его никто бы не мог; он склонялся под малейшим нажимом, но все же через какое-нибудь мгновение – крак! – и он опять выпрямлялся и так же высоко, как раньше, поднимал голову.

Вступить в открытое единоборство с подобным противником было бы сумасшествием, ибо Бром не принадлежал к числу людей, допускающих препятствия в своих любовных делах; он был, пожалуй, более пламенный и более страстный поклонник, чем сам Ахиллес. Икабод поэтому начал медленное, постепенное, на первый взгляд неприметное, наступление. Прикрываясь своим знанием учителя пения, он стал частенько захаживать на ферму ван Тасселей; этот предлог потребовался не потому, что он опасался докучливой опеки родителей, которая так часто бывает камнем преткновения на любовной тропе. Балт ван Тассель был снисходителен; он любил свою дочь, любил ее даже больше, чем трубку, и, как подобает рассудительному человеку и превосходнейшему отцу, предоставил ей свободно распоряжаться собой. Его достойная женушка была по горло занята домашним хозяйством и птичьим двором, ибо она рассудила, и, надо признать, весьма мудро, что утки и гуси – сумасшедший народ, нуждающийся в присмотре, тогда как девушки сами в состоянии позаботиться о себе. Вот почему эта вечно хлопочущая хозяйка или носилась по всему дому, или усердно трудилась за прялкой на одном конце веранды, в то время как на другом добряк Балт ван Тассель дымил своей вечернею трубкой, пристально наблюдая за движениями маленького деревянного воина, вооруженного парой шпажонок – по одной в каждой руке – и храбро сражавшегося с ветром на башенке, венчавшей собою хлебный амбар. А Икабод между тем любезничал с дочерью либо у родника под раскидистым вязом, либо прогуливался по двору в сумерках, в час, когда все благоприятствует красноречивым излияниям влюбленных.

Признаюсь, мне неизвестно, каким собственно способом осаждают и как в конце концов завоевывают женское сердце. Оно для меня всегда оставалось загадкой и предметом неподдельного восхищения. Иной раз сердце это имеет какое-нибудь уязвимое место, иначе говоря – как бы входную дверь, в то время как в другие сердца ведут тысячи путей, так что овладеть ими можно с помощью тысячи способов. Победа над первым – величайший триумф ловкости и находчивости, но высшее доказательство стратегического таланта – это умение удерживать власть над вторым, ибо тут мужчине приходится биться за крепость у всех ворот и у каждой бойницы. Человек, завоевавший тысячу обыкновенных сердец, приобретает благодаря такому подвигу известную славу, но тот, кому удается сохранить безусловную власть над сердцем кокетки, тот поистине настоящий герой. Грозный Боне отнюдь не принадлежал к разряду героев, и едва Икабод перешел к наступательным действиям, как надежды Брома стали заметно склоняться к закату: никто не видел больше его коня в воскресный вечер у

изгороди фермы ван Тасселей; между ним и наставником Сонной Лощины мало помалу возгорелась вражда не на жизнь, а на смерть.

Бром, не лишенный своеобразного, хотя весьма дикого и грубого рыцарства, был не прочь довести дело до открытого столкновения и решить спор о даме сердца в соответствии с обычаем наиболее прямолинейных и не мудрствующих мыслителей – я имею в виду странствующих рыцарей минувших времен, – то есть, говоря попросту, поединком. Но Икабод слишком хорошо представлял себе соотношение сил, чтобы принять вызов и выйти на арену турнира. До него дошли хвастливые слова Брома, заявившего, что "он сложит учителя вдвое и засунет на самую дальнюю полку в его собственном классе", и он принял необходимые меры, чтобы не предоставить удобного случая для исполнения этой угрозы. Его последовательное и упрямое миролюбие доводило Брома до бешенства. У него не оставалось иного выбора, как обратиться к испытанному арсеналу деревенского остроумия и обрушиться на своего соперника градом грубых выходок и проделок. Бедный Икабод сделался предметом преследования со стороны тороватого на выдумки Бонса и его буйной ватаги. Они опустошали его некогда мирное царство, подкуривали, заткнув печную трубу, его школу пения и, несмотря на грозные преграды в виде ивового прута и ставней, пробрались однажды ночью в школьное помещение и наделали тут такого содому, что бедняга учитель готов был подумать, что у него в школе справляли шабаш колдуны и волшебники здешних мест. Но что было еще возмутительней – Бром старался использовать любую возможность, дабы выставить Икабода в смешном виде перед владычицей его сердца: он обучил своего негодного пса препотешно скулить и повизгивать и, приведя его пред очи Катрины, заявил, что это – достойный конкурент Икабода, способный не хуже последнего посвятить ее в тайны распевания псалмов.

Дни шли за днями, а между тем в положении соперничающих сторон не замечалось никакой существенной перемены. Однажды, в чудесный день золотой осени, Икабод, задумчивый и мечтательный, восседал на высоком, точно трон, стуле, с которого он обыкновенно следил за течением жизни в подвластном ему маленьком государстве. Рука его держала линейку – этот скипетр деспотической власти; лоза правосудия, внушающая от века ужас всякому лиходею, покоилась на трех гвоздях позади царского трона, в то время как пред ним, на кафедре, можно было увидеть груду запрещенного к ношению оружия и всевозможную контрабанду, отобранную у лодырей и шалопаев из числа его подданных: тут были хлопушки, волчки, огрызки недоеденных яблок,

клетки для мух и целые легионы задорных, сделанных из бумаги, боевых петушков. Все говорило о том, что здесь только что произошел грозный акт правосудия: школьники, деловито уткнувшись носами в книги и поглядывая исподтишка одним глазом на неумолимого педагога, лукаво перешептывались друг с другом, и только их шепот слышался в классе. Впрочем, тишина была внезапно нарушена появлением негра, наряд которого состоял из грубой шерстяной куртки, таких же штанов и венчавшей его голову тульи от шляпы, чрезвычайно похожей на ермолку Меркурия. Восседая на спине косматого молодого, почти вовсе не объезженного коня, он управлял им при помощи обрывка веревки, заменявшего поводья. Он подъехал к школе, постучал в дверь и пригласил Икабода на праздник или на "посиделки", которые должны были состояться в тот же вечер у мингера ван Тасселя. Выполнив свою задачу с серьезным и торжественным видом и попытками выражаться изысканно и благородно (как это вообще свойственно неграм при исполнении ими мелких поручений подобного рода), он перемахнул через ручей и, исполненный сознанием важности и спешности своей миссии, понесся вверх по лощине.

В мгновение ока в недавно еще тихом и чинном классе поднялись невообразимый гомон и суета. Школьники пустились рысью по урокам, не останавливаясь на мелочах; кто был попроворнее и половчее, безнаказанно про–пускал половину заданного, тогда как более медлительным и тугодумным время от времени перепадало по мягким частям, отчего у них сразу прибавлялось прыти или появлялось умение выговорить длинное слово. Книги, вместо того чтобы выстроиться в порядке на полках, были брошены как попало, чернильницы перевернуты, скамейки опрокинуты; школа затихла и опустела на целый час раньше срока, и школьники, высыпавшие наружу, точно легион молодых чертенят, галдели, визжали и носились по зеленому лугу, радуясь нежданному и преждевременному освобождению.

Что касается Икабода, то он потратил на туалет никак не менее получаса; он тщательно вычистил свою лучшую и, по правде сказать, единственную, основательно порыжевшую черную пару, снял с нее сор и пылинки и, став перед куском разбитого зеркала, висевшего в помещении школы, долго приглаживал и приводил в порядок прическу. Дабы предстать перед своей повелительницей в облике самого что ни на есть настоящего кавалера, он попросил у фермера, у которого в то время квартировал, – то был старый желчный голландец по имени Ганс ван Риппер – одолжить ему на вечер коня и, взгромоздившись на его спину, выехал, наконец, за ворота, словно странствующий рыцарь, пускающийся на

поиски приключений. Я полагаю, что, в согласии с правилами истинно романтической повести, будет вполне уместно дать некоторое представление об общем виде и убранстве как моего героя, так и его скакуна. Конь, на котором восседал Икабод, был старой разбитой рабочею клячей, для которой все было в прошлом, почти все, за исключением ее норова. Она была тощая, косматая, с овечьей шеей и с головой, похожей на молоток; ее выцветшая грива и хвост спутались и сбились от засевших в них колючек репейника; один ее глаз, лишенный зрачка, представлял собою сплошное бельмо и имел страшный вид, зато другой горел неукротимым огнем, точно в нем угнездился сам дьявол. Впрочем, в далекие дни, если судить по имени, – а звали этого коня "Порох", – он отличался благородством и пылом. Дело в том, что Порох был когда то любимым конем желчного и раздражительного Ганса ван Риппера, в свое время бешеного наездника, передавшего, должно быть, частичку своей былой страсти коню, ибо, несмотря на его дряхлый и немощный вид, тайный демон сказывался в нем в гораздо большей степени, чем в любой молодой кобыле окрестностей.

Икабод был вполне подходящим всадником для подобного скакуна. Он держался на коротко подобранных стременах, так что колени его были почти у луки седла; худые, острые локти торчали, как ножки кузнечика; его плеть, которую он зажал в руке концом вверх, походила на скипетр, и когда конь подбрасывал на ходу его тело, наездник размахивал руками, как крыльями. Его шерстяная шапочка была водружена прямо на переносицу, ибо вместо лба у него была лишь узенькая полоска, полы сюртука развевались почти над самым хвостом его лошади. Таков был вид Икабода и его скакуна в тот момент, когда они выезжали за ворота Ганса ван Риппера, и надо признаться, что подобного рода картину не часто приходится видеть при дневном свете.

Как я сказал, был чудесный день золотой осени; небо было безоблачно и прозрачно, природа успела облачиться в свой роскошный, златотканный наряд, который мы всегда связываем с представлением о богатстве и изобилии. Леса оделись в полные достоинства, спокойные буро желтые краски, и только более хрупкие и чувствительные деревья, тронутые первыми заморозками, сверкали оранжевыми, пурпурными и алыми пятнами. Высоко в небе уже потянулись тонкие линии диких уток; в березовых и ореховых рощах слышалась перекличка белок; время от времени с соседнего жнивья доносился задумчивый и нежный свист перепела.

Птицы помельче устраивали уже прощальные сборища. В упоении чирикая и веселясь, они порхали с куста на куст, с одного дерева на другое, беззаботные и

легкомысленные, ибо вокруг царило великое изобилие и оживление. Здесь был важный и неприступный самец реполов (излюбленная дичь юных охотников), кричавший пронзительным и сварливым голосом; здесь были черные певчие дрозды, летавшие темною тучей; золотокрылый дятел с малиновым гребешком, широким черным ожерельем и ярким радостным оперением; свиристель с красными по краям крылышками, с желтым кончиком хвоста и маленькой шапочкой из крошечных перышек; синяя сойка – эта шумная щеголиха, в нарядном и легком голубоватом кафтанчике, из под которого выглядывало белоснежное белье; она щебетала и чирикала, кивала головкой, приседала и кланялась, делая вид, что она на короткой ноге со всеми певуньями рощи.

Пока Икабод медленно трусил по дороге, его глаза, всегда широко открытые на все то, что имеет отношение к сытной и вкусной еде, с наслаждением останавливались на сокровищах, выставленных напоказ веселою осенью. Со всех сторон в огромном количестве видны были яблоки: одни висели еще обременительным грузом на коренастых деревьях, другие были уложены в корзины и бочки для отправки на рынок, третьи, ссыпанные в колоссальные кучи, предназначались для выделки сидра. Дальше пошли обширные поля кукурузы: из под лиственного покрова на каждом стебле виднелись осыпанные золотом хохолки – это зрелище породило в нем видения пирожных и заварных пудингов; в то же время лежавшие между стеблями тыквы, повернувшие к солнцу свои чудесные округлые животы, заставили его вспомнить о роскошных, тающих во рту пирогах. Окончилась кукуруза, начались поля, засеянные гречихой; оттуда несся пряный дух пасеки, и, поглядывая в эту сторону, наш герой ощутил во рту сладостный вкус румяных оладий, которые плавали в масле и которые поливала медом или патокой нежная, маленькая, пухленькая, с очаровательными ямочками, ручка Катрины ван Тассель.

Насыщая свое воображение сладостными мыслями и "сахарными мечтами", он ехал вдоль цепи холмов, с которых открывается один из самых красивых видов на могучие воды Гудзона. Солнце медленно скрывалось на западе. Уходящая вдаль зеркальная гладь Таппан Зее была недвижима, разве где-нибудь, то здесь, то там, легкая рябь бороздила поверхность, вытягивая и удлиняя синюю тень далекой горы. Несколько облачков янтарного цвета висели в бездонном небе, полная неподвижность воздуха позволяла им стоять на одном месте. Горизонт, сначала горевший червонным золотом, постепенно меняя окраску, приобрел оттенок, свойственный золотисто зеленой кожице зрелого яблока, и потом, наконец, сделался темно синим, как глубины небесного свода. Косой луч,

замешкавшийся на лесистых гребнях нагорий, круто нависавших кое где над рекой, оттенял свинцовые и пурпурные тона скал и утесов высокого берега. Вдалеке виднелось маленькое суденышко, медленно спускавшееся вниз по течению, с парусами, праздно повисшими вдоль мачты. И так как в неподвижной воде отражалось небо, казалось, будто суденышко это парит в воздухе.

Икабод добрался до "замка" ван Тасселя под вечер. Он застал здесь гордость и цвет округи. Тут были пожилые фермеры: худые – кожа да кости – люди в домотканных штанах и куртках, в синих носках и огромных башмаках с великолепными оловянными пряжками; были и их маленькие, сухонькие, но проворные и веселые жены в плоеных чепцах, в коротких платьях с низкою талией, в домотканных юбках, с ножницами и подушечками для иголок, с пестрыми сумками из коленкора, висящими на поясе. Тут были также пышущие здоровьем девицы, одетые почти так же, как и мамаши, если не считать какой-нибудь соломенной шляпки, ленты или порою белого платья, что говорило о новшествах, занесенных из города, были, наконец, и молодые люди в куртках со срезанными под прямым углом фалдами (эти куртки были украшены рядами огромных, ярко начищенных медных пуговиц), с волосами, заплетенными, по моде того времени, в косу, в особенности у тех, кому посчастливилось раздобыть кожу угря, ценимую в здешних местах в качестве мощного средства, способствующего росту волос.

Настоящим героем праздника был, впрочем. Бром Боне, прибывший на "посиделки" верхом на своем любимом Черте – существе, которое, подобно своему хозяину, было воплощением бешеной силы и озорства и на котором, кроме Брома, никто не мог усидеть. К слову сказать, этот малый предпочитал норовистых коней, любивших выкидывать штуки и подвергать всадника постоянной опасности свернуть себе шею; послушную, хорошо выезженную лошадь он считал животным, недостойным парня с характером.

Тщетно было бы пытаться обрисовать мир чудес, открывшийся восхищенным взорам моего героя, едва только он вошел в роскошную гостиную дома ван Тасселей. Его восхитил не столько даже выводок пышущих здоровьем девиц и обворожительная выставка "белого и румяного", сколько очарование настоящего голландского праздничного стола, и к тому же – в деревне, и к тому же – в пору осеннего изобилия. Боже мой, чего, чего там только не было! Сколько блюд с пирожными всевозможных, не поддающихся описанию разновидностей, известных лишь опытным голландским хозяйкам! Там были знаменитые

ореховые пирожные, тающие во рту "оли коек" [9], рассыпчатые, хрустящие под зубами нежные пончики; были пирожные из сладкого и пирожные из слоеного теста, пирожные имбирные, пирожные медовые – вся пирожная порода вообще. Там были также яблочные пироги, пироги с персиком и пироги с тыквой; нарезанная ветчина и копченая говядина; сверх того, чудесные лакомства из сливового варенья, персиков, груш и айвы, не говоря уже о тушеной рыбе и жареных цыплятах, о мисках с молоком и со сливками. Все это было расставлено вперемежку, приблизительно так, как я описал, по соседству с фамильным чайником, испускавшим клубы пара посредине стола, – да будет благословенно столь роскошное зрелище! У меня не хватает ни времени, ни сил, чтобы достойным образом описать это пиршество, а кроме того, мне не терпится продолжать мою повесть. К счастью, Икабод Крейн, в отличие от своего историка, никуда не спешил и мог отдать должное каждому лакомству.

Он был существом добрым и признательным; сердце его становилось вместительнее, по мере того как чрево наполнялось вкусной едой; она поднимала его настроение, подобно тому как у многих оно поднимается от возлияний. Уплетая за обе щеки, он разглядывал своими широко раскрытыми глазами все окружающее и улыбался при мысли, что в один прекрасный день он, Икабод, может стать хозяином всей этой невообразимой роскоши, всех этих богатств. Он предавался мечтам и представлял себе, как вскоре он скажет "прости" старому неприютному школьному зданию, как щелкнет пальцами перед носом Ганса ван Риппера или еще кого-нибудь из своих жадных, смотрящих в рот квартирных хозяев, как прогонит прочь от дверей незадачливого странствующего учителя, когда тот дерзнет обратиться к нему со словом "собрат".

Старый Балт ван Тассель обходил гостей с лицом, расплывшимся от удовольствия и доброго настроения, круглым и веселым, как полная луна. Любезности гостеприимного хозяина были кратки, но выразительны и сводились к рукопожатию, похлопыванию по плечу, раскатистому громкому смеху и настойчивому совету "приналечь и позаботиться о себе".

Но вот звуки музыки из комнаты для гостей послужили приглашением к танцам. Обязанности музыканта исполнял старый, седоволосый негр, уже более полувека представлявший в своем лице бродячий оркестр округи. Его инструмент был так же стар и так же разбит, как он сам. По большей части он

[9] Род пирога (голл.).

пиликал, пользуясь двумя или тремя струнами, но зато каждый взмах смычка сопровождал движением головы, наклоняясь почти до самого пола и отбивая ногою такт всякий раз, когда к танцам присоединялась новая пара.

Икабод в такой же мере гордился умением танцевать, как и своим вокальным талантом. Ни один мускул, ни одна жилка не оставались при этом без дела; наблюдая его вихляющуюся в вихре движений фигуру, его ноги, топочущие по всей комнате, вы могли бы подумать, что пред вами – сам святой Витт, благословенный покровитель пляски и пляшущих. Он приводил в восторг многочисленных негров всех возрастов и размеров, сбегавшихся с фермы и из окрестностей; они стояли, составив пирамиду из блестящих, сияющих лиц у каждого окна и у каждой двери, и с восхищением глазели, вращая белками, на эту сцену веселья, обнажая ряды белых, точно слоновая кость, зубов и разевая рты от уха до уха. И он, так беспощадно поровший своих сорванцов, – разве мог он испытывать сейчас какие-нибудь иные чувства, кроме подъема и радости! Ведь дама его сердца была рядом с ним, была его неизменною парою в танцах; в ответ на его влюбленные взгляды на ее устах появлялась очаровательная улыбка, в то время как Бром Боне, сгорая от любви и от ревности, погруженный в печальные размышления, прятался в одном из углов гостиной.

По окончании танцев Икабод примкнул к кружку мудрецов, которые вместе с Балтом ван Тасселем устроились на веранде, курили, вели беседу о былых временах и рассказывали длинные предлинные истории о войне.

Во времена, о которых идет речь в нашем повествовании, район его действия был одним из тех счастливых углов, где кишмя кишели великие люди и хроники минувших событий. В дни войны британские и американские укрепленные линии проходили неподалеку отсюда, так что область эта сделалась ареной мародерства и бесчинств, чинимых дезертирами, ковбоями и пограничными рыцарями всякого рода. С той поры протекло как раз столько времени, сколько требуется для того, чтобы всякий рассказчик мог облечь свой рассказ соответствующей долей вымысла и в подернутых дымкой тумана воспоминаниях произвести самого себя в герои, приписав себе всевозможные подвиги.

Здесь можно было услышать историю Дофью Мартлинга, огромного голландца с иссиня черною бородой, палившего с земляного бруствера из старой железной девятифунтовой пушки; он захватил бы британский фрегат, да орудие его разорвалось на шестом выстреле. Здесь присутствовал также один пожилой

джентльмен, пусть он останется безымянным, ибо это слишком богатый мингер, чтобы называть его имя по такому пустячному поводу, – который, искусно фехтуя, в сражении при Уайтплейнз отразил своей короткою шпагой мушкетную пулю, причем – какие же тут возможны сомнения? – он явственно слышал, как она просвистела возле клинка, и видел, как блеснула, ударившись об эфес, в подтверждение чего он всегда готов был показывать эту самую шпагу с немного помятым эфесом. Здесь присутствовали и еще многие, совершившие на полях битв не менее доблестные деяния, и каждый из них пребывал в глубочайшей уверенности, что счастливый исход войны – в значительной мере дело и его рук.

Но все это было ничто по сравнению с последовавшими затем рассказами о духах и привидениях. Эта местность, как я указывал выше, богата драгоценными сказаниями подобного рода. Ведь местные легенды и суеверия лучше всего разрастаются и расцветают в таких захолустных, давно заселенных укромных углах и, напротив, бывают затоптаны под ногами вечно снующих толп, составляющих большинство сельского населения нашей страны. Кроме того, наши деревни – места явно неподходящие для духов и призраков потому, что не успеют эти последние погрузиться в свой первый сон и повернуться в могиле, как их живые приятели перекочевывают на новое место, так что, выходя в ночной обход, они не находят больше знакомых, которых могли б навестить. Этим, возможно, и объясняется то обстоятельство, что мы исключительно редко слышим о духах где-нибудь в другом месте, кроме старинных голландских поселений.

Однако непосредственная причина отмечаемого в этих местах преобладания сверхъестественных россказней кроется, несомненно, в близости Сонной Лощины. Ее влияние разносится как бы вместе с воздухом, притекающим из этой зачарованной стороны; он распространяет атмосферу грез и видений, заражающую окрестности. Несколько обитателей Сонной Лощины, оказавшихся среди гостей Балта ван Тасселя, не замедлили, по обыкновению, угостить присутствующих жуткими и повергающими в изумление легендами. Было рассказано немало страшных историй о похоронных процессиях и душераздирающих воплях у большого дерева, близ которого был схвачен несчастный майор Андре и которое росло невдалеке от фермы ван Тасселя. Не была забыта и женщина в белом, которую не раз видели в мрачном овраге у Вороньей Скалы, где она когда то погибла в снегу, и ее крики доносились оттуда в зимние ночи перед метелью. Основная масса рассказов была посвящена,

однако, излюбленному призраку Сонной Лощины – Всаднику без головы, – который имел обыкновение рыскать в этих местах и которого не раз в последнее время здесь замечали; говорят, будто он каждую ночь треножит своего коня и оставляет его между могил на кладбище, возле церкви.

Церковь, благодаря своему уединенному положению, уже давно превратилась в излюбленное пристанище мятущихся духов. Она стоит на невысоком бугре, окруженном акациями и могучими вязами; ее опрятно выбеленные стены, выделяясь на темном пустынном фоне, сияют той скромною чистотой, которая заставляет вспомнить о христианском смирении и целомудрии. Пологий спуск ведет от нее к серебряной полоске воды, окаймленной высокими раскидистыми деревьями, сквозь которые можно увидеть голубые холмы Гудзона. Глядя на заросший травою погост при церкви, где так безмятежно спят солнечные лучи, всякий решил бы, что пред ним надежное убежище и что здесь мертвые вовеки пребудут в мире и тишине. По одну сторону церкви тянется обширная, заросшая лесом, ложбина; вдоль нее, среди обломков скал и поваленных бурей деревьев, ревет и неистовствует быстрый поток. Невдалеке, там, где поток достигает значительной глубины, его берега соединялись когда то деревянным мостом. Дорога, что вела к этому мосту, да и самый мост были скрыты в густой тени разросшихся могучих деревьев, и даже в полдень тут царил полумрак, сгущавшийся ночью в кромешную тьму. Таково было одно из самых любимых убежищ Всадника без головы, здесь его чаще всего встречали. Кто то рассказал историю, приключившуюся со старым упрямцем Броувером, начисто отрицавшим существование духов; и все же ему пришлось столкнуться с призрачным всадником, возвращавшимся после ночной вылазки к себе на погост, и он вынужден был сесть на коня позади гессенца. Они помчались, не обращая внимания на кусты и на заросли, по холмам и болотам, пока не долетели до моста, и тут Всадник без головы обернулся внезапно скелетом, сбросил старого Броувера в ревущий поток и, сопровождаемый гулом громовых раскатов, вихрем понесся по верхушкам деревьев и в мгновение ока бесследно исчез.

Эта история немедленно повлекла за собою рассказ о еще более поразительном случае, происшедшем не с кем иным, как с самим Бромом Бонсом, по словам которого гессенец, оказывается, – страстный наездник. Бром утверждал, что когда он возвращался однажды ночью из соседней деревни Синг Синг, его нагнал полуночный всадник; Бром предложил ему померяться в скачке, обещая, в случае поражения, поднести "безголовому" чашу отменного пунша. Он,

конечно, одержал бы победу, поскольку Черт, пока дорога шла по лощине, все время оставлял призрачного коня позади, но едва только достигли они церковного моста, как гессенец, вырвавшись вперед, рассыпался огненной вспышкой и сгинул.

Эти рассказы, сообщаемые глухим ровным голосом, каким обычно беседуют в темноте, а также лица слушателей, время от времени освещаемые внезапно вспыхивающим огоньком трубки, глубоко запечатлелись в душе Икабода. Он сторицею отплатил за доставленное ему наслаждение, огласив пространные отрывки из своего бесценного Коттона Мезера и присовокупив к ним отчет о поразительных происшествиях, имевших место на его родине в Коннектикуте, и о тех жутких призраках, с которыми ему пришлось повстречаться во время ночных хождений по окрестностям Сонной Лощины.

Праздник мало помалу стихал. Пожилые фермеры, собрав свои семьи в повозки, тронулись по домам, и некоторое время на дорогах долины и на далеких холмах слышалось громыханье колес. Некоторые из девиц уселись на крупы коней позади своих милых; их веселый смех вместе с цоканьем копыт, отдаваясь эхом в безмолвных лесах, делался все глуше и глуше и, наконец, замолк где то вдали. Там, где еще недавно царили шум и веселье, стало пустынно и тихо; медлил один Икабод, в соответствии с обычаем местных влюбленных желавший провести с богатой наследницей положенный tete a tete[10]. Теперь, больше чем когда бы то ни было, он верил в успех! Что произошло у них во время свидания, сказать не берусь – мне это неведомо. Впрочем, боюсь, что приключилось нечто неладное: во всяком случае, пробыв у Катрины очень недолго, он ушел от нее в полном унынии. Ах, женщины, женщины! Быть может, наша девица позволила себе какую-нибудь выходку, достойную завзятой кокетки. Кто знает, не притворялась ли она, что отдает предпочтение бедному педагогу, для того чтобы вернее завлечь его врага и соперника. То известно лишь небу; что до меня... то я ничего не знаю. Достаточно сказать, что Икабод уходил прочь с таким видом, точно явился сюда, чтобы похитить кур из курятника, а не сердце хорошенькой женщины. Не обращая внимания на окружающие богатства, которые прежде так часто привлекали его жадные взоры, он направился прямо в конюшню и, отпустив своему скакуну несколько здоровенных тумаков и затрещин, весьма неучтиво заставил его покинуть уютное, теплое стойло, где тот успел было

[10] Свидание наедине (франц.).

сладко заснуть и увидеть во сне горы ячменя, овса и долины, поросшие от края до края клевером и тимофеевкой.

Когда Икабод с тяжелым сердцем и поникшей душою тронулся, наконец, домой и направил коня вдоль высоких холмов, которые тянутся над Тарри Тауном и которые он в таком радостном настроении пересекал, едучи сюда в гости, наступил излюбленный час духов и привидений, час столь же мрачный, как и сам Икабод. Далеко внизу простиралась темная, едва различимая гладь Таппан Зее; кое где у берегов виднелись маленькие суденышки с высокими мачтами, мирно качавшиеся на якоре. В мертвом безмолвии полуночи до него доносился даже лай собаки с противоположного берега Гудзона, но звук был так слаб и нечеток, что порождал в нем лишь представление о том, как велико расстояние до этого верного спутника человека. Иногда откуда то издалека, с какой нибудь затерянной среди холмов одинокой фермы, слышалось протяжное пение нечаянно проснувшегося петуха, но и это казалось ему как бы смутным отзвуком нездешнего мира. Он не ощущал близ себя никаких признаков жизни, кроме случайного сонного и меланхоличного стрекотанья сверчка или порою гортанного кваканья жабы, исходившего из расположенного невдалеке болота, и, казалось, будто она квакает и кряхтит оттого, что приняла во сне неудобное положение и теперь внезапно перевернулась на другой бок.

Все рассказы о духах и привидениях, слышанные Икабодом в течение вечера, теснились теперь в его памяти. Ночь становилась все темней и темней; звезды, казалось, погрузились в бездонную глубину неба, и несущиеся в вышине облака время от времени скрывали их из виду. Икабод никогда еще не чувствовал себя таким одиноким, таким удрученным. К тому же он приближался к месту, где разыгралось столько историй с участием призраков. Посреди дороги росло огромное тюльпанное дерево, словно гигант возвышавшееся над остальными своими собратьями и служившее местным жителям чем то вроде дорожной вехи. Его фантастически искривленные суковатые ветви, настолько толстые, что могли бы сойти за ствол дерева средних размеров, спускались почти до самой земли и затем снова шли вверх. Это дерево было связано с трагической историей бедняги Андре, захваченного тут в плен, вследствие чего его повсеместно называли не иначе, как деревом майора Андре. Простой народ взирал на него с некоторым благоговением, смешанным с суеверным страхом, что находит свое объяснение, с одной стороны, в сочувствии к судьбе его несчастного тезки, а с другой – в толках о странных видениях и скорбных стенаниях, связанных с этим деревом.

Приближаясь к жуткому дереву, Икабод стал было насвистывать; ему показалось, что на его свист кто то ответил, но то был всего-навсего порыв резкого ветра, пронесшегося среди засохших ветвей. Подъехав ближе, он увидел, что посреди дерева висит что то белое; он остановился и замолчал; присмотревшись, он обнаружил, что это не что иное, как место, куда ударила молния, содравшая тут кору. Вдруг ему послышался стон; зубы его застучали, колени начали выстукивать барабанную дробь по седлу, но оказалось, что это раскачиваемые ветром крупные ветви сталкиваются и трутся одна о другую. Он благополучно миновал дерево, но его подстерегали другие напасти.

Примерно в двухстах ярдах от дерева дорогу пересекал маленький ручеек, исчезавший в заболоченном и заросшем овраге, известном под именем топи Вилея. Несколько положенных в ряд нетесаных бревен – таков был мост через этот ручей. По одну сторону дороги, там, где ручей сворачивал в лес, небольшая рощица из густо перевитых и оплетенных диким виноградом дубов и каштанов окутывала его полумраком: тут было темно, как в пещере. Переправа по мосту представляла собой серьезное испытание. Именно здесь, на этом же месте, был схвачен несчастный Андре, и, скрытые чащей этих каштанов и дикого винограда, притаились в засаде напавшие на него дюжие иомены. С той поры считалось, что ручей пребывает во власти колдовских чар и что в зарослях водится нечистая сила. Нетрудно себе представить, как трясся от страха какой-нибудь школьник, которому случалось проходить в одиночестве по мосту после наступления темноты.

Подъезжая к ручью, Икабод почувствовал, что сердце его бешено заколотилось; он собрался тем не менее с духом, наградил свою лошадь десятком ударов под ребра и попытался вихрем пронестись через мост; но вместо того чтобы устремиться вперед, упрямое животное метну лось в сторону и уперлось в придорожную изгородь. Икабод – чем дольше длилась задержка, тем сильнее одолевал его страх – силился повернуть коня в нужную сторону, яростно бил его ногою по животу и дергал поводья: все было тщетно. Конь, правда, в конце концов тронулся с места, но лишь для того, чтобы понести в противоположную сторону, в заросли терновника и ольшаника. Наш педагог угощал бедного старого коня плеткою и ударами пятки под тощие ребра; втягивая в себя воздух и фыркая, Порох помчался вперед, но у самого моста внезапно остановился, едва не перебросив седока через голову. В это мгновение настороженный слух Икабода уловил сбоку от моста характерные при движении по топким местам глухие хлюпающие звуки. В окутанной мраком роще, на берегу ручья, он

заметил высившуюся бесформенную громаду. Громада не двигалась с места, но в ночном мраке казалось, что она сжимается и съеживается, словно гигантское чудовище, готовое прыгнуть на путника.

У бедняги учителя от страха дыбом поднялись волосы. Что ему делать? Повернуть назад и спасаться бегством – слишком поздно, да и мог ли он ускользнуть от привидения или призрака – если это и впрямь был призрак, которому нипочем носиться на крыльях ветра? Собрав всю свою решимость, он с напускной храбростью, волнуясь и задыхаясь, спросил. "Кто там?" Никто не ответил. Икабод повторил свой вопрос еще более взволнованным голосом, и снова не дождался ответа. Он опять принялся колотить плеткою бока упрямого Пороха и, закрыв глаза, в пламенном порыве веры затянул свои псалмы. Тогда черная тень, поселившая в нем тревогу и ужас, пришла в движение, вскарабкалась по откосу, прыгнула и в один миг очутилась посредине дороги. Хотя ночь была пасмурная и темная, теперь до некоторой степени оказалось возможным разглядеть очертания ужасного незнакомца. То был всадник богатырского сложения на столь же могучем черном коне. Он не Проявлял ни враждебности, ни общительности – он держался поодаль, чуть чуть подвигаясь вперед по дороге, с той ее стороны, с которой старый Порох, преодолевший, наконец, свой страх и упрямство, был слеп.

Икабод, не находивший ни малейшего удовольствия в обществе загадочного полуночного спутника, вспомнил о том, что произошло между Бромом Бонсом и гессенцем, и погнал коня, надеясь оставить неизвестного позади. Последний, однако, вел свою лошадь на равном аллюре. Тогда Икабод натянул поводья и пустил коня шагом, рассчитывая таким способом отстать; то же сделал и его спутник. Икабод чувствовал, что сердце его сжимается и замирает; он попытался снова затянуть псалмы, но его сухой, воспаленный язык прилип к небу; ему не удалось выдавить из себя ни единой строфы. В мрачном и упорном молчании неотступно следовавшего за ним ночного всадника было что то таинственное и грозное. Вскоре его страшные предчувствия сбылись. Дорога пошла на подъем, отчего фигура его спутника, закутанного в плащ великана, более или менее рельефно обрисовалась на фоне ночного неба, – и Икабод обомлел от ужаса, обнаружив, что у всадника отсутствует голова. Охвативший его ужас усилился еще больше, когда он заметил, что голова, которой полагается быть на плечах, болтается у луки его седла. Теперь страх Икабода сменился отчаянием; он обрушил На бедного Пороха град ударов, смутно надеясь, что внезапным рывком вперед сможет обогнать своего спутника, но призрак тоже погнал коня

во весь дух. Сломя голову, не разбирая пути, куда глаза глядят, неслись они в ночном мраке, так что из под конских копыт сыпались камни и искры. Пригнувшись своим длинным, тощим телом к голове лошади, Икабод мчался вперед, и полы его ветхого сюртука трепетали и развевались в порывах встречного ветра.

Они достигли, наконец, того места, где дорога сворачивает к Сонной Лощине; вместо того чтобы устремиться прямо к ней, Порох свернул в противоположную сторону и понесся сломя голову вниз по дороге, уходившей налево. Эта дорога ведет через песчаный овраг, почти на четверть мили поросший деревьями, пересекает пресловутый, прославленный местными легендами, мост и, миновав его, поднимается на зеленый холм, где стоит белая церковь.

Теперь из за неудержимого страха, во власти которого оказался конь, нашему незадачливому наезднику удалось добиться значительного преимущества в бешеной скачке, но как раз посредине оврага подпруга ослабла, и педагог почувствовал, как седло под ним ерзает и сползает. Он ухватился за луку, стремясь удержать седло, но ему это не удалось; он вовремя уцепился за шею старого Пороха и благодаря этому спасся от неминуемой гибели, ибо в то же мгновение седло свалилось на землю, и он слышал, как оно затрещало под копытами несущегося вдогонку коня. Он содрогнулся при мысли о гневе и ярости Ганса ван Риппера – ведь это его праздничное седло! – но теперь ему было не до того: призрак скакал у самого крупа старого Пороха, и, будучи недостаточно ловким наездником, Икабод принужден был тратить немало усилий, чтобы удержаться на лошади; сползая с одной стороны на другую и с силою ударяясь об острые выступы спинного хребта своей клячи, Икабод всерьез опасался, как бы конь не разрезал его пополам.

Просветы между деревьями окрылили его надеждою, что церковный мост должен быть где то уже совсем близко. Зыбкое отражение серебряной звездочки в водах потока указало ему, что он не ошибся. Он увидел стены церкви, смутно белевшие среди деревьев. Ему вспомнилось, что тут то и исчез призрак, с которым состязался Бром Боне. "Если я достигну моста, – мелькнуло у него в голове, – я спасен". В то же мгновение он услышал позади себя храп и фырканье черного скакуна; ему показалось даже, что он ощущает на себе его горячее, порывистое дыхание. Еще один судорожный удар под ребра – и старый Порох влетел на мост, прогромыхал копытами по гулким доскам настила и достиг противоположного берега. Икабод решился, наконец, оглянуться и посмотреть, не превратился ли его преследователь – как ему и подобает по штату – в

огненную вспышку или в клубы серного дыма. И вдруг он увидел, что призрак приподнимается в стременах, размахивается и бросает в него своей головой. Икабод попытался увернуться от этого жуткого метательного снаряда, но опоздал. Голова со страшным треском ударилась о его череп; потеряв сознание, он растянулся в пыли. Порох, черный скакун и призрак пронеслись мимо него, точно вихрь.

На следующее утро старый конь, без седла, с волочащимися под ногами поводьями, мирно пощипывал травку у ворот фермы своего хозяина. К завтраку Икабод не явился; наступил час обеда. Икабода все не было. Школьники, собравшись у школы, праздно слонялись возле ручья; их учителя нет как нет. Ганс ван Риппер начал испытывать беспокойство: его тревожила судьба бедного Икабода, а равным образом и собственного седла. Были произведены поиски, и после долгих усилий напали на след злополучного педагога. На дороге, что ведет к церкви, было найдено сломанное, втоптанное в грязь седло Ганса ван Риппера; следы конских копыт, оставивших на дороге резкие отпечатки – кони, очевидно, мчались с бешеной быстротой, – привели к мосту, за которым близ ручья, в том месте, где русло его становится шире, а вода чернее и глубже, и была найдена шляпа несчастного Икабода и рядом с ней – разбитая вдребезги тыква.

Обшарили также ручей, но тела учителя нигде не было. Ганс ван Риппер, которому в качестве душеприказчика надлежало распорядиться его имуществом, подверг обследованию оставшийся после учителя узелок, в котором заключалось все его достояние. Там были две с половиной рубашки, два шейных платка, пара другая шерстяных носков, старые плисовые штаны, ржавая бритва, томик нот с псалмами (весь в так называемых "ослиных ушах", то есть с загнутыми страницами) и сломанный камертон. Что касается книг и мебели, находившихся в здании школы, то они принадлежали общине, за исключением "Истории колдовства в Новой Англии" Коттона Мезера, альманаха "Новая Англия" и книжки, заключавшей в себе толкования снов и примет; в этой книге, кстати сказать, находился большой лист бумаги, испещренный бесчисленными помарками, свидетельствовавшими о бесплодных попытках сочинить стихи в честь наследницы Балта ван Тасселя. Все эти колдовские книги и поэтические каракули были осуждены Гансом ван Риппером на немедленное сожжение, причем он и объявил, что никогда не ожидал ничего путного от чтения и бумагомарания. Что касается денег, то за день или два до роковой ночи Икабод

успел получить жалованье за целый квартал, и в момент исчезновения они должны были находиться при нем.

Таинственное происшествие породило в ближайшее воскресенье во время обедни немало толков среди прихожан. Кучки зевак и болтунов собирались на кладбище, на мосту и в том месте, где были найдены шляпа и тыква. Из уст в уста передавались истории Броувера, Брома Бонса и великое множество других в том же роде. Внимательно рассмотрев все эти рассказы и сопоставив их с обстоятельствами настоящего происшествия, собеседники, покачав глубокомысленно головами, пришли к выводу, что Икабод унесен Конным гессенцем. Но поскольку он был холостяк и никому ни гроша не должен, никто особенно не ломал себе головы и не думал о нем, школа была переведена в другой конец Сонной Лощины, и новый педагог воцарился на кафедре Икабода.

Один старый фермер, через несколько лет ездивший в Нью Йорк, тот самый, который рассказал мне эту историю с привидениями, распространил известие, что Икабод Крейн жив и здоров, что он покинул эти места отчасти из страха пред призраком и Гансом ван Риппером, а отчасти и вследствие нанесенной ему обиды как никак он неожиданно был отставлен богатой наследницей! Икабод переселился в противоположный конец страны, учительствовал, одновременно изучал право, был допущен к адвокатуре, стал политиком, удостоился избрания в депутаты, писал в газетах и под конец сделался мировым судьей. Что касается Брома Бонса, то вскоре после исчезновения своего незадачливого соперника он с триумфом повел под венец цветущую и пышущую здоровьем Катрину; было замечено, что всякий раз, как рассказывалась история Икабода, на его лице появлялось лукавое выражение, а при упоминании о большой тыкве он неизменно начинал заразительно и громко смеяться, что и подало основание предполагать, будто он знает больше, чем говорит.

Деревенские кумушки, являющиеся, как известно, наилучшими судьями в подобных делах, считают и посейчас, что Икабод был унесен с бренной земли каким то сверхъестественным способом; рассказывать об этом событии стало излюбленным занятием у зимнего камелька. Мост еще больше, чем прежде, внушает местным жителям суеверные страхи, так что, быть может, именно по этой причине дорога через овраг оказалась в последние годы заброшенной, и теперь ездят в церковь мимо мельничного пруда. Покинутое школьное здание вскоре пришло в упадок, и есть сведения, что в нем поселился дух злосчастного педагога. Крестьянскому парню, возвращавшемуся с пахоты, в тихие летние

вечера кажется, что он слышит где то в отдалении голос и что среди безмятежной тишины Сонной Лощины разносятся тоскливые мелодии псалмов.

Вашингтон Ирвинг, 1820

Электронная библиотека «Оригинал» - Классическая литература на языке оригинала и переводы на иностранные языки http://originalbook.ru